

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 38

1990



Герман ПЛИСЕЦКИЙ

П Р И Г О Р О Д

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 38

Издается с января 1925 года

Герман ПЛИСЕЦКИЙ

ПРИГОРОД

СТИХИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1990

Герман ПЛИСЕЦКИЙ

Герман Борисович Плисецкий родился в Москве в 1931 году. Окончил филологический факультет МГУ, потом учился в аспирантуре ленинградского Института театра, музыки и кино. Выпустил несколько книг переводов: Омар Хайям, Хафиз, грузинские и армянские поэты. Свои стихи публиковал редко. Это первая книга поэта, которую составили стихи разных лет.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

В том вымершем городе, в прошлом моем,
в зеленом кольце голубой водоем.
Там старые вальсы и всплески весла,
там лето и осень, зима и весна.
Но чаще всего там июнь или май,
там праздно шатается красный трамвай,
и солнца осколки сверкают везде,
и дети возводят дворцы на песке.

Любовь начинается, как дифтерит:
с утра лихорадит и горло болит,
как будто признание застряло во рту,
засело сухой сосновой щепой,
и в пору припасть раскаленной щекой
к дрожащей воде на весеннем ветру.

В том времени прошлом, в застывшем былом
кирпичная школа моя за углом.
И кто-то на снимке любительском том
окно угловое пометил крестом.
И чья-то улыбка в открытом окне
сияет шестнадцатилетнему мне.
И ватные ноги несут меня к ней,
несут меня к старшей вожатой моей!

А город от пригорода огражден
на занавес МХАТа похожим дождем.
Весь день погромыхивает и палит,
и птица на бархатном фоне парит.
Весь день над окраинами, вокруг,
висят декорации облачных груд.

Отличник, очкарик, вчерашний пацан,
(под партой — припрятанный Мопассан!)
в блаженном неведении будущих лет,
зажмурясь, тани свой счастливый билет
с притихнувшим классом один на один.
Любовь — необъявленный карантин!

Ах, дым коромыслом над головой
до вечера в комнате угловой.
Озноб стихотворный — с тобою умру!
Знамена и горны пылятся в углу.
Экзамены кончены. В школе пустой
просторное лето встает на постой.
И лишь полотера размеренный шаг,
как маятник, слышен на всех этажах,
и сумерки дымной табачною мглой
сгущаются в комнате угловой.

Гроза назревает. Заложена грудь.
Как в медленном лифте — в термометре ртуть.
И бред дифтерийный: «Я выключу свет...»
И шепот сестры милосердия: «Нет...»
И надо бы доктора-горловика
с коротким диагнозом: «На века!»

И надо бы с неба громовое: «Да!»
Прорвавши плотину, да хлынет вода,
из хаоса новую землю твоя.
Да сбудется женская воля твоя!
Скорей, моя память, скорей на карниз,
и — вниз по трубе оцинкованной, вниз,
к холодной трубе припадая щекой
со всем своим пылом, со всею тщетой!
Прислушайся, бешено сердцем стуча,
к шагам сторожихи и скрипу ключа.
Из школьных глубин, словно град с облаков, —
стремительный цокот ее каблучков.
Она уже рядом. И прямо в глаза
электроразрядом сверкает гроза.

Грозовая полночь! Медлительный гром —
как будто огромный обрушился дом.
Ослепнувших улиц мгновенный столбняк.
Деревья рванулись, забыв о корнях.
Как мамонта бивень, ударил под вздох

тропический ливень — вселенский потоп!
Нездешняя мера желаний и сил —
планета Венера, клокочущий мир.
Любовью набухли твои облака,
как молодость, ты от земли далека...

Я тощий, промокший насквозь и босой
на тех негативах, заснятых грозой.
Меня ослепляет, как вспыхнувший блиц,
сияние наших обугленных лиц.
И нет ни разлук, ни измен, ни обид —
лишь в лужах шипит и дымится карбид...
Меня в этом городе, полном примет,
давно уже нет. Да и города нет.
Осыпались весны в цветочных рядах,
вода протекла в непроточных прудах.
По белому свету, средь белого дня,
как после больницы, шатает меня.

Но снова и снова, до самых основ
меня сотрясает тогдашний озноб.
Как будто не в сорок седьмом, а на днях
меня прохватил вездесущий сквозняк,
сквозняк незабвенный — стремительный тюль,
летающий из комнат в открытый июль.

О, память! Ты, как птеродактиль, паришь
над палеозойским скоплением крыш,
над окаменелой стихией морской,
удушливо пахнущей «Красной Москвой».

Вернемся туда! У кино «Колизей»
устроим свидание старых друзей,
и будем, забывши принять валидол,
оранжевым солнцем играть в волейбол,
и будем под сенью весенних знамен
курить папиросы «Совет Унион».

Они были Чистыми — эти пруды!
Сквозь прутья решеток торчали пруты,
трамвай подгулявший деревья считал,
а ветки хлестали его по щекам.
Как свежеекрашенная скамья,
сверкает зеленая юность моя!

И краскою пахнет, и солнце везде,
и дети возводят дворцы на песке...

КУСТАРИ

Им истина светила до зари
в сыром углу, в чухоточном подвале.
Шли на толкучку утром кустари
и за бесценок душу продавали.

У перекупщиков был острый глаз.
Был спрос на легковесных и проворных.
Бездарный, но могущественный класс
желал иметь талантливых придворных.

И тот, кто половчей, и тот, кто мог, —
тот вскоре ездил в золотой карете.
И, опускаясь, дошли у дорог
к подделкам не способные калеки.

О, сколько мыслей их потом взошло,
наивных мыслей, орошенных кровью!
Но это все потом произошло,
уже за рамками средневековья.

* * *

Приснился мне город, открытый весне,
и ты подошла к телефону во сне.

Звонил я, как прежде, из будки с угла,
но ты ничего разобрать не могла.

Твой голос, ослабленный дальностью лет,
«Нажмите на кнопку!» — давал мне совет.

А я все кричал, задыхаясь: «Прости!»,
над сломанной трубкой сосулькою стыл.

И с крыш, и с ресниц на подушку текло,
и звонкой монетой стучали в стекло.

Меня торопили, и не было сил
припомнить: за что ж я прощенья просил...

ПАМЯТИ БАБУШКИ

Прощай, Варвара Федоровна!
Я продаю буфет —
громоздкий и ободранный
обломок давних лет.

В дубовом этом ящике —
прах твоего мирка.
Ты на московском кладбище
давно мертвым-мертва.

А я все помню — надо же! —
помню до сих пор
лицо лукаво-набожное,
твой городской фольклор...

Прощай, Варвара Федоровна!
Я продаю буфет —
словно иду на похороны
спустя пятнадцать лет.

Радости заглохшие
с горем пополам —
все, все идет задешево
на доски столярам!

Последнее свидетельство
того, что ты жила,
как гроб несут по лестнице.
Ноша тяжела.

СЕРЕДИНА ЖИЗНИ

Я взялся за печальное перо,
как будто состоялся вынос тела.
Как деревянный утренний перрон,
отгрохотала жизнь и опустела.

Упавшим навзничь среди бела дня
найдет меня народная дружина.
Положат в «Склифосовского» меня.
Останется лишь отчество у сына.

Все небо заслонит халат врача,
застрянет навсегда в ушах усталых
Грохольский переулочек, грохоча
грузовиками в сторону вокзалов...

Но сердце бьется. Кровь еще красна.
Я пью ее, порезав бритвой палец.
Целуюсь. В Сандунах с друзьями парюсь.
И теплый я, как говорит она.

Еще придут электропоезда,
нахлынет град новоприбывших мыслей.
Не все еще слова перелистал.
Не все еще предметы перечислил.

Еще не скоро жизнь меня осилит,
еще не скоро имени лишит.
А молодость моя лежит в могиле,
в сырой могиле молодость лежит.

ФИЛАРМОНИЯ

Одинокие женщины ходят в концерты,
как в соборы ходили — молиться.
Эти белые лица в партере — как в церкви,
как в минуту любви — обнаженные лица.

И еще туда ходят рыцари долга,
в гардеробе снимают доспехи,
и ничтожными кажутся ненадолго
деловые дневные успехи.

Среди буйных голов, на ладони упавших,
среди душ, превратившихся в уши,
узнаю Прометеев, от службы уставших,
и Джульетт, обращенных в старушек.

Это музыка — опытный реставратор —
прожитое снимает пластами,
открывает героев, какими когда-то
стать могли и какими не стали.

Здесь не надо затверженного мажора,
здесь высокой трагедии мера.
Поддержите, крылатые дирижеры,
эту взлетную тягу партера!

КОМНАТЫ

В тех комнатах прозрачны стены.
Там действуют законы сцены.
Там не стареют, не стирают,
а только руки стирают!
В ночных рубашках — как в туниках.
Там — как в трагедиях великих.

Мы будем помнить, умирая,
те двери с теми номерами.
Мы будем видеть те подмости,
где неуклюжие подростки
страдают, слепо доверяют,
последствий не соразмеряют
и убегают, хлопнув дверью,
по гулким лестницам — к безверью...

По тротуарам через годы
бредут, старея, пешеходы.
По мостовым бегут, старея,
трамваи и автомобили.
Стоят вокруг, как мавзолеи,
те комнаты, где мы любили.

* * *

Кого мы ждем всю жизнь? Кого мы ждем
в безмолвном прошлом, под косым дождем?

Из стен родных бежим куда-нибудь,
из стран родных — припасть, упасть на грудь!

Туристские ночные города
влекут на дно, как в омуты вода.
В их свете предстают перед людьми
великие возможности любви.

Обуглены мы будем, сожжены
в чужих отелях, в призрачных ночах,
в объятьях суженой, а не жены,
коротким замыканьем на плечах.

И встанет, заштрихованный дождем,
пронзительный, беззвучный пейзаж...
Мы, словно катастрофы, счастья ждем,
дневной покой оберегаем наш.

Бог атомный, спаси живущих врозь,
всю жизнь свою придумавших не так
детей Земли, летящей между звезд,
а вовсе не стоящей на китах!

ВОКЗАЛ

Я — вокзал многолюдный. Я понял.
Я понял:
все вопросы на свете решаются просто.
Я просеиваю между бетонных ладоней
человеческих судеб сыпучее просо.

Сотни лиц в постоянном перемещенье
исчезают навеки, едва возникая.
Не ищите уюта жилых помещений
в дымных залах с транзитными сквозняками.

Я — потерянный мальчик, которого диктор
вызывает по радио долго, но тщетно.
Я — небритый пьянчуга, вззирающий дико
на спешащих людей из-за стойки буфетной.

Я — турист с ярлыками, делега с портфелем,
неудачник, все чаще глядящий на рельсы...

Я заполнен людьми. Я потерян, потерян!
Тянет в разные стороны, в разные рейсы.

Не ищите во мне одного человека,
не ищите порядка в давке и гаме.
Приходите ко мне, если нету ночлега —
забейтесь на жесткие лавки с ногами!

* * *

...Откуда мы? Из детства, из Москвы
с рубиновыми звездами, из книг
Жюль Верна и Аркадия Гайдара,
из: «Ну-ка песню нам пропой веселый ветер!»
из перелетов через Полюс, из:
«Но пассаран!», «Рот фронт!», «Бандьера росс!»

Но также из Москвы военных лет,
Москвы противотанковой, зенитной,
поднявшей в небеса аэростаты,
тоскливым жестом заломившей руки
временок дымных в жестяное небо,
из очереди на ночлег в метро,
из воющего, как сирена, слова
«э-ва-ку-ация!», из тыловой глуши,
заваленной снегами, из альбомов
с цветочками, с приписками в углу:
«А тот, кто любит больше нас,
тот пусть пишет дальше нас!».

И, наконец, мы из отдельных школ
потемкинских времен, из перекуров
без шухера в уборных. Военрук
был однорук, был новогодний бал —
как пенистый бокал: летели «Брызги
шампанского» — тогдашнего танго,
был звездный двор, где остужался пыл,
ларек наискосок: «Сто грамм и кружку!»,
и снова зал, где па-де-патинер,
и серпантин, и девочки вдоль стен,
и Джорж, и Джорж, и Джорж из Динки-джаза...

Минует все, как танец менуэт,
как позапрошлый век — сыграет в ящик,
но атмосферу вымерших планет
по круговым орбитам память тащит.
Оттуда мы — из замкнутых эпох,
окольцевавших сердцевины детства,
и души наши — временный итог,
и с каждым кругом тяжелей наследство...

ТРУБА

В Госцирке львы рычали. На Цветном
цветы склонялись к утреннему рынку.
Никто из нас не думал про Неглинку,
подземную, укрытую в бетон.
Все думали о чем-нибудь ином.
Цветная жизнь поверхностна, как шар,
как праздничный, готовый лопнуть, шарик.
А там, в трубе, река вслепую шарит.
и каплет мгла из вертикальных шахт...

Когда на город рушатся дожди —
вода на Трубной вышибает люки.
Когда в Кремле кончаются вожжи —
в парадных двери вышибают люди.
От Самотеки, Сретенских ворот
неудержимо катится народ
лавиною вдоль черного бульвара.
Труба, Труба — ночной водоворот,
накрытый сверху белой шапкой пара!

Двенадцать лет до нынешнего дня
ты уходила в землю от меня.
Твои газоны зарастали бытом.
Ты стать хотела прошлым, позабытым,
веселыми трамваями звеня.

Двенадцать лет до этого числа
ты в подземельях памяти росла,
лишенная движения и звуков.
И вырвалась, и хлынула из люков,
и понесла меня, и понесла!

Нет мысли в наводнение. Только страх.
И мужество: остаться на постах,
не шкуру, а достоинство спасая.
Утопленница — истина босая —
до ужаса убога и утла...

У черных репродукторов с утра,
с каймою траурной у глаз бессонных
отцы стоят навывтяжку в кальсонах.
Свой мягкий бархат стелет Левитан —
безликий глас незыблемых устоев,
который точно так же клеветал,
вещал приказы, объявлял героев.
Сегодня он — как лента в кумаче:
у бога много сахара в моче!

С утра был март в сосульках и слезах.
Остатки снега с мостовых слизав,
стекались в лужи слезы пролитые.
По мостовым, не замечая луж,
стекались на места учеб и служб
со всех сторон лунатики слепые.
Торжественно всплывали к небесам
над городом огромные портреты.
Всемирный гимн, с тридцатых лет не петый,
восторгом скорби души сотрясал.

В той пешеходной, кочевой Москве
я растворяюсь, становлюсь как все,
объем теряю, становлюсь картонным.
Безликая, подобная волне,
стихия поднимается во мне,
сметая милицейские кордоны.
И я вливаюсь каплею в поток
на тротуары выплеснутой черни,
прибоем бьющий в небосвод вечерний
над городом, в котором бог подох,
над городом, где вымер автопарк,
где у пустых троллейбусов инфаркт,
где полный паралич трамвайных линий,
и где-то в центре, в самой сердцевине —
дымится эта черная дыра...

О, чувство локтя около ребра!
Вокруг тебя поборники добра
всех профсоюзов, возрастов и званий.
Там, впереди, между гранитных зданий,
как волнорезы поперек реки —
поставленные в ряд грузовики.

Бездушен и железен этот строй.
Он знает только: «осади!» и «стой!».
Он норовит ревущую лавину
направить в русло, втиснуть в горловину.
Не дрогнув, может он перемолоть
всю плещущую, плачущую плоть...

Там, впереди, куда несет река,
аляповатой вкладкой «Огонька»,
как риза, раззолочено и ало,
встает виденье траурного зала.
Там саркофаг, поставленный торчком,
с приподнятым над миром старичком:
чтоб не лежал, как рядовые трупы.
Его еще приподнимают трубы
превыше толп рыдающих и стен.
Работают Бетховен и Шопен.

Вперед, вперед, свободные рабы,
достойные Ходынки и Трубы!
Там, впереди, проходы перекрыты.
Давитесь, разевайте рты, как рыбы.
Вперед, вперед, истории творцы!
Вам мостовых достанутся торцы,
хруст ребер и чугунная ограда,
и топот обезумевшего стада,
и грязь, и кровь в углах бескровных губ.
Вы обойдетесь без высоких труб.

Спрессованные, сжатые с боков,
вы обойдетесь небом без богов,
безбожным небом в клочьях облаков.
Вы обойдетесь этим черным небом,
как прежде обходились черным хлебом.
До самой глубины глазного дна
постигните, что истина черна.

Земля, среди кромешной черноты,
одна как перст, а все ее цветы,
ее веселый купол голубой —
цветной мираж, рассеянный трубой.
Весь кислород Земли сгорел дотла
в бурлящей топке этого котла...

Опомнися! Попробуем спасти
ту девочку босую лет шести.
Дерзнем в толпе безлюдной быть людьми —
отдельными людьми, детьми любви.
Отчаемся — и побредем домой
сушить над газом брюки с бахромой,
пол-литра пить и до утра решать:
чем в безвоздушном городе дышать?

Труба, Труба! В день Страшного Суда
ты будешь мертвых созывать сюда:
тех девочек, прозрачных, как слюда,
задавленных безумьем белоглазым,
и тех владельцев почернелых морд,
доставленных из подворотен в морг
и снова воскрешенных трубным гласом...

Дымись во мгле, подземная река,
бурли во мраке, исходя парами.
Мы забываем о тебе, пока
цветная жизнь сияет в панораме
и кислород переполняет грудь.
Ты существуешь, загнанная вглубь,
в моей крови, насыщенной железом.

Вперед, вперед! Обратный путь отрезан,
закрыт как люк, который не поднять...
И это все, что нам дано понять.

МЕРТВЫЙ ЧАС

Больничных корпусов каре.
На окнах шторы выгорают.
На солнцепеке во дворе
две девочки в пинг-понг играют.

Дрожит за окнами жара,
все в мареве — как будто снится.
Мелькают посреди двора
два лоскута цветного ситца.

Спит населенье мертвым сном.
В живых — одни девчонки эти.
Их шарик, точно метроном,
стучит на вымершей планете.

ОСЕННИЕ СТРОФЫ

Вернувшихся из летних отпусков
встречают будни писком комариным.
Золотоносные пласты песков
и мощные пласты аквамарина
лежат всю зиму в душах северян.
Всю зиму ищет выхода к морям
моя континентальная равнина.

У жителей умеренных широт
сегодня генеральный поворот
к учебным планам и к заклеяке окон.
В восьмом часу у нас уже темно...
Жужжит моей судьбы веретено
на фабрике искусственных волокон.

Переходя на зимний образ чувств,
и я, как лист, гонимый ветром, мчусь,
ото всего оторванный и мертвый.
По мокрому бетонному шоссе
лезу, как по ничейной полосе,
меж Африкой и Арктикой простертый...

* * *

Ты не ревнуй меня к словам,
к магическим «тогда» и «там»,
которых не застала.
Ложится в строфы хорошо
лишь то, что навсегда прошло,
прошло — и словом стало.

Какой внутриутробный срок
у тех или у этих строк —
родители не знают.
Слова, которые болят,
поставить точку не велят
и в строчку не влезают.

Прости меня, что я молчу.
Я просто слышать ночь хочу
сквозь толщину бетона.
Я не отсутствую, я весь
впервые без остатка здесь,
впервые в жизни — дома.

Прости меня. Я просто так.
Я просто слушаю собак,
бездомных, полуночных.
Я просто слушаю прибой,
шумящий вокруг нас с тобой
в кварталах крупноблочных...

* * *

Над ледяной броней канала,
где долбит лунку рыболов,
гром двухмоторного хорала
поверх откосов и стволов.
Как будто я крылат, как будто,
орлиной высотой дыша,
из Шереметьева в Калькутту
стартует вольная душа.
Бумагу до утра марая,
дыша орлиной высотой,
на горизонте Гималаи
все время вижу пред собой.
Но вдруг ослабевает тяга
перетрудившихся турбин.
Как льдина, холодна бумага,
и я ее долблю один.
И в сорок первый раз, и в сотый
бесплодно бью пером об лед...

Возьми меня с собой, высокий
ежевечерний самолет!

* * *

На перекрестке без людей
задолго до утра
уже не страшен мне злодей
с ножом из-за угла.
А страшно мне в твоей толпе,
народ глухонемой.
Китайским кажется тебе
язык российский мой.
А страшно мне, когда страна
своих не узнает —
словно китайская стена
вокруг меня встает.
Тогда вползает в ребра страх
С Арктических морей,
и я седею на глазах
у матери моей...

* * *

Я иностранец, иностранец
в родном краю, в своей стране.
Мне странен этот дикий танец,
разгул убогий страшен мне.

Здесь не работа — перекуры,
маячат праздные фигуры,
один ишачит — пять глядят.
Здесь бабы алкашей жалеют,
и от прохвостов тяжелеют,
и мелкую шпану плодят.

Давай, любимая, займемся
обменом площади жилой.
Давай скорее назовемся
законно мужем и женой.

Мы заведем с тобой привычки,
в квартире наведем уют.
Потом однажды в электричке
меня сограждане убьют

За то, что я не благодарен
великой родине моей,
за то, что не рубаха-парень,
за то, что в шляпе и еврей.

И ты останешься вдовой
на том высоком этаже,
где я состариться с тобою
мечтал. И старился уже.

* * *

Уйти в разряд небритых лиц
от розовых передовиц,
от голубых перворазрядниц.

С утра. В одну из черных пятниц.
Уйти — не оправдать надежд,
и у пивных ларьков, промеж
на пену дующих сограждан,
лет двадцать или двадцать пять
величественно простоять,
неспешно утоляя жажду.

Ведь мы не юноши уже.
Пора подумать о душе —
не всё же о насущном хлебе!
Не всё же нам считать рубли.
Не лучше ль в небе журавли,
как парусные корабли,
в огромном, ледовитом небе?..

ПРИГОРОД

Памяти Дж. Ф. Кеннеди

Газеты проданы. В них все объяснено.
В учебном складе верхнее окно

старательно кружком обведено.
Стрелой показан путь автомобиля.
А из кружка, похожего на нуль —
прямой пунктир трассирующих пуль...
«О, Господи! Они его убили!»

И этот одинокий женский вскрик
звучит уже отдельно от газеты,
звучит над ухом, словно рядом где-то
он сам собой из воздуха возник.
Прошел через вагоны проводник.
У двери двое курят сигареты.
Храпит пьянчуга. Шляпы и береты
виднеются из-за газет и книг.

На электричке, следующей в Клин,
без остановок докачусь до Химок,
разглядывая бледный фотоснимок,
где все еще счастливая Жаклин,
всеобщей окруженная любовью,
вот-вот в лицо увидит долю вдовью...

Остановись, убийственный момент!
Не надо оборачиваться, Джекки!
Поднявши руку, ныне и навеки,
пусть едет по Техасу президент!
Бывают же обрывы кинолент?
Плотинами перекрывают реки?
Остановись! Пусть будет прецедент.

Но нет, не остановишь катастроф.
Лязг буферов звучнее наших строф
на горках, где тасуются составы,
где сцепщик мановением руки,
как Бог, вагоны гонит в тупики,
вывихивая ломиком суставы.

Отгадчик детективного романа,
я ощупью брожу среди тумана.
Сюжета мне никто не объяснил.
Стараясь превзойти Агату Кристи,
ищу во всем какой-нибудь корысти,
хитросплетенья закулисных сил...

А дело проще: просто этот мир,
в пространстве не имеющий опоры,
летит по кругу, наклоня горы,
колеблясь от Гомера до громил.
И океаны мира, и леса,
и преисподняя, и поднебесье, —
все это в ненадежном равновесье,
как и черты любимого лица.
Как одухотворенные черты,
накрытые внезапно злобной маской.
И ты с луны свалился, и с опаской
их трогаешь рукою: «Это — ты?»

Или с улыбкой в комнату входя,
вдруг попадаешь в силовое поле
тяжелой воли вражеской, хотя
дискуссия всего лишь о футболе.
Так, друг на друга поглядев едва,
немеют, ничего не видя кроме,
два жителя чужих галактик, два
химически чужих состава крови.
И фанатизм, хмелея постепенно,
свой оловянный взгляд вперяет в них...
Из всех щелей, коричневый и пенный,
из всех щелей — из мюнхенских пивных!

Но есть надежда! Есть еще, Земля,
в твоих амбарах сортовое семя.
Есть золотые, как пшеница, семьи:
зерно к зерну отборная семья.
Отцы, преодолевшие моря,
и матери, спокойные, как реки.
Закройщик их кроил наверняка:
ткань, словно кожа чертова, крепка
и в детях не изнашивается вовеки.
Есть крепость человеческой семьи!

Враскачку, на другом конце земли,
в полупустом заплеванном вагоне
я думаю об основном законе —
о поединке птицы и змеи.
О небе, слепо верящем в крыло,
о хлябях, облегающих село,
плодящих гадов и враждебных хлебу.

О том, что жизнь земная рвется к небу,
сама себя за волосы схватив.
Я думаю, что это лейтмотив
всех Рафаэлей, Моцартов, Гомеров...

...У двери двое милиционеров
храпящего пьянчугу тормозят.
Грохочет мост, как путепровод в ад,
коптит закат, измазанный мазутом,
цистерны черные ползут своим маршрутом,
подбрасывая топливо в закат.

Скользят без остановок рельсы лет.
Под нами то и дело путь двоится.
Колблется вагон, словно боится
свободы выбора: да или нет?
Вслепую тычется: чет или нечет?
Не веря, что сошел с ума диспетчер,
следающий за движением планет.

* * *

Я снова бездомен. Свободно снежинки порхают.
Мир божий огромен. Вдали города полыхают.

И все как в далеком начале: вокзал, мандаринные корки, окурки.
Нелепо торчат, как торчали, озябшие руки из куртки.

На мягких рессорах, шатаясь, иду по вагону.
Пора бы: за сорок — а все еще нет утомону.

Все рая ищу я с поляной, обвившего дерево змея...
Я все еще пьяный. Жду часа, когда протрезвею.

На юность похоже. Но все тяжелей и опасней.
Все так же, все то же — лишь нету бессмертья в запасе.

За окнами темень. А что там за теменью? Тайна.
Отмерено время. Начало последнего тайма.

* * *

В кафе, где мы с тобой сидели,
с утра разжившись четвертным,
официантки посидели,
сурово стало со спиртным.

Что было в нас? Какая сила
сильней сбивающего с ног
безвременья? Что это было?
Сидевший с нами третьим — Бог?

Туман на площади Манежной,
как будто в Сандунах в парной,
и женский образ жизни прежней
маячит в нем передо мной.

Чьи там глаза блестят в тумане
под зыбкой мглою неудач?
Ах, Соня, Соня Барбаяни,
гречанка верная, не плачь!

* * *

Уснули мы, обняв друг друга.
Устав любить, уснули мы
внутри магического круга,
в дремучих зарослях зимы.

Я спал — и ты меня касалась,
но остывал угольев жар.
Одна зола в душе осталась.
Остался лишь вороний кар.

Как будто черные старухи:
«Прощай! Прощай! Прощай!» —
кричат
среди войны, среди разрухи,
где остовы печей торчат...

* * *

Я жесток? Ты на звезды взгляни:
что на свете быть может жесточе?

Что-то в сердце растет в эти дни,
в эти звездные зимние ночи.

Что-то близкое к сути самой,
к тайне жизни безвыходной этой,
этой звездной московской зимой,
в дни любви и хвостатой кометы.

Этой жизни неженская суть,
жестких звезд перевозданная млечность,
этот Млечный сияющий путь —
семя Бога, пролитое в вечность.

* * *

Разбудил меня грохот на крыше:
лист железа от ветра гремел.
Между шкафом и полками, в нише
ужас прятался белый, как мел.

Будто кто-то родной помирает
в темной комнате рядом с тобой.
Будто хрупкую жизнь попирает
великан многотонной стопой.

И мерещилось мне, что планета —
мертвый мир, позабытый людьми,
что не будет теперь ни рассвета,
ни зеленой листвы, ни любви.

Что сомкнуть пересохшие очи
мне не даст ни сегодня, ни впредь
металлический грохот среди ночи,
равномерный и твердый, как смерть.

СУМЕРКИ

Не могу прочесть слепых страниц
мною же написанного текста.
Я уже не различаю лиц,
светлых лиц из юности и детства.

Я уже не разбираю слов —
тишина мне заложила уши.
Гул потусторонних голосов
до меня доносится все глуше.

Позабуду, как меня зовут.
Стану тенью, призраком без тела —
лишь бы еще несколько минут
в небе это облако блестело!

УЕХАВШЕМУ ДРУГУ

Я выкопал яму в овраге,
и вещи твои схоронил,
и кипу ненужной бумаги
в трескучий костер уронил.

Стоял я, засыпавши яму,
ни часа не знал, ни числа.
Смотрел, как береза упрямо
направо от входа росла.

Костер прогорал и дымился,
огонь дотлевал под золой,
а сруб бесполезный слезился,
и горестно пахло смолой...

* * *

О, Север высокий! Гудки парохода — Дудинка.
Озера, озера в осоке... Забвения легкая дымка.

Всплеснула крылами гусиная стая. Над юностью всею
вознесся, блистая, серебряный ствол Енисея.

Как сотни ячеек яичных на мятом картоне долины —
Таймыр, инкубатор и птичник, лежит под крылом «каталины».

От любвеобильного юга, от почвы его плодovитой
сквозь обруч Полярного круга тянущь в океан Ледовитый.

Тебе я откроюсь, что истина стала простою,
что цель моя — Полюс с недвижной Полярной звездю.

В арктический трест нанимаюсь, на Север плыву по течению,
всю жизнь поднимаюсь к его неземному свеченью!

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕИЧ

Памяти дяди

Ты приходил, как вор, в цековский дом
в отсутствие родителей партийных,
не занятый общественным трудом
небритый завсегда́тай мест питейных.

А в доме том в те годы по ночам
стучали в дверь — то далеко, то близко.
Но не стрелял никто и не кричал:
шла тихая химическая чистка.

Перед окном был Кремль. Поверх голов
церквей и всей пречистенской рутины
я видел: верхолаз взамен орлов
крепил на башнях звездные рубины.

Ты приходил с гитарой за плечом —
свидетельством беспутности и дара.
О чем ты пел, брэнча струной, о чем?
Я не запомнил. Я читал Гайдара.

О чем хотел сказать? Не знаю я.
О чем-нибудь, в чем мы души не чаем?
И бабка православная моя
тебя поила четвертинкой с чаем.

Потом ты сгинул, потонул, пропал
в тех далях, о которых думать зябко.
В войну пришло письмишко на Урал,
и плакала тайком от мамы бабка.

И все. Навеки выбыл адресат,
Чтоб мама больше не стыдилась братца.
Запомнилось: «свобода» и «штрафбат»,
«отечество», «возможность оправдаться».

И все. Как просто спичку погасить —
почти как птичку выпустить из клетки!
И бабки нет, и некого спросить,
а за окном мелькают пятилетки.

Давно все решено, Василий. Но
порою отменяются решенья.
Мне, в виде исключения, дано
божественное право воскрешенья.

Пусть, кости нам колесами дробя,
с тяжелым скрипом катится Расея —
я силой слова оживлю тебя,
сын деда моего, сын Алексея!

ПАМЯТИ ДРУГА

Д. А. Ланге

Прости меня, доктор, что я задержался на юге,
у моря, лакая вино, шашлыки уминая.
Что я не явился с цветами к твоей овдовевшей подруге,
прости меня, Додик! Я плачу, тебя поминая.

Должно быть, мы взяли рубеж — перевал от восхода к закату.
Теперь мы, как волжская дельта — отдельные мелкие реки.
Все меньше друзей, составлявших теченье когда-то:
одни уезжают навечно, другие уходят навеки.

Ни слова, мой друг, об инфарктах и нажитых грыжах.
Не станем трепаться о том, что отечество — отчим.
Кому мы нужны в этих самых Лондонах-Парижах?
Так ты говорил мне, дантист и еврей, между прочим.

Куда мы уедем от тысячи памятей личных,
от лет этих призрачных, вставших друг другу в затылок,
от юности нищей, сидящей в московских шашлычных,
от этих рядов бесконечных порожних бутылок?

От этой помпезной державы, играющей марши и туши,
от этой страны сверхсекретной, где вход воспрещен посторонним,

от нескольких милых русачек, согревших озябшие души,
от той, наконец, подмосковной могилы, где ты похоронен?

Мы купим пол-литра с утра в продуктивном у Дуськи,
а кто-нибудь купит квартиру, машину и дачу...
В Пречистенской церкви тебя отпевают по-русски...
Прости меня, Додик! Я горькую пью. Я не плачу.

КАТАСТРОФА

Как в сновиденье: город опустевший...
Вот что случится в старости с тобой:
лишь стукнет ставней ветер налетевший
да пыль взлетит над мостовой сухой.

Всё на местах: картины, книги, вещи.
Исчезли только люди и зверье.
И все родное выглядит зловеще,
и все вокруг как будто не мое.

Налился день отравленною вишней,
и солнце освещает эту быль.
Зачем все это сотворил Всевышний?
Полынь. Чернобыль. Небылица. Пыль...

* * *

Какой-нибудь Сен-Санс тому назад лет сорок
по радио звучит, мучительно высок.
Смеркается. Внизу многоэтажный город,
и школа на углу видна наискосок.

Всю жизнь во мне звучит его Каприччиозо.
Событий и людей нет в памяти моей.
Лишь этот день пустой, и сумерки, и слезы...
А вот учителей не помню — хоть убей!

* * *

Увы, не блещет мысль, но заблестала
холодной сединою голова...

Слагать стихи как будто стыдно стало,
неловко как-то рифмовать слова.

Копье сравнения пролетает мимо,
а прежде был удар неотразим...
Ничто ни с чем на свете несравнимо.
И полная безобразность за сим.

Бушует в юных пламя, не стихая,
а я давно горюю — не горю...
Ты думаешь, что говоришь стихами?
Мне кажется: я прозой говорю.

ПУСТЫРЬ

С чего начать? С любого пустыка.
С пустого. С пустыря в окне вагона,
когда курьерский в пригород с разгона
влетает впопыхах осенним днем,
и вдруг: среди городского костяка —
пустое место, и на нем — ворона.
Пустырь. С него, пожалуй, и начнем.

Итак, пустырь. На мертвой полосе
бугров и сора между корпусами,
как шерсти клочья на облезлом псе,
клоки травы. Глаза полны слезами.
Приснилась мне долина Алазани
во всей своей немыслимой красе!

Итак — пустырь. Определим предмет.
Поскольку пустоты на свете нет,
и даже пустоту между планет
и ту переполняет звездный свет —
мы пустырю дадим определенье:
ПРОСТРАНСТВО БЕЗ КРАСОТ И БЕЗ ПРИМЕТ.

Не путайте пустыню с пустырем.
Пустырь тосклив, как крик «старье берем!»
Берешь перо — и на пустом листе
Пэ тупо упирается в эСТэ.

Как ветра вой, как ржавый клок травы —
унылый У и безысходный Ы.

В пустыне тоже пусто. Но взамен
забора ЭР — в конце пустыни ЭН.
В пустыне — солнце, небо, караван,
на горизонте башни дальних стран,
в уме у правоверного — Коран,
в суме у православного — Псалтырь...
Бог сотворил пустыню. Мы — пустырь.

.
Пустырь. Итака. Хитрый Одиссей,
состарившись в итоге жизни всей,
сидит на берегу, седой абориген.
И солнца средиземного рентген
просвечивает вековые дали.
У Одиссея на груди медали,
на десять метров в глубину земля
засорена обломками культуры:
горшки, колонны, лысые скульптуры,
остатки стен какого-то Кремля...

Он вспоминает блеск протекших дней,
а вокруг него пасутся, землю роя,
и дружелюбно хрюкают герои,
обманом превращенные в свиней.

.
Передо мной Пустырь грядущих лет —
ПРОСТРАНСТВО БЕЗ КРАСОТ И БЕЗ ПРИМЕТ.
Без пастыря бреду по пустырю,
забывшись, сам с собою говорю.
Такси мимо меня все в парк да в парк...
А с дерева ворона: «Карк!» да «Карк!»

СОДЕРЖАНИЕ

Чистые пруды	3
Кустари	6
«Приснился мне город, открытый весне...»	6
Памяти бабушки	7
Середина жизни	7
Филармония	8
Комнаты	9
«Кого мы ждем всю жизнь? Кого мы ждем...»	9
Вокзал	10
«...Откуда мы? Из детства, из Москвы...»	11
Труба	12
Мертвый час	15
Осенние строфы	16
«Ты не ревнуй меня к словам...»	16
«Над ледяной броней канала...»	17
«На перекрестке без людей...»	18
«Я иностранец, иностранец...»	18
«Уйти в разряд небритых лиц...»	19
Пригород	19
«Я снова бездомен. Свободно снежинки порхают...»	22
«В кафе, где мы с тобой сидели...»	23
«Уснули мы, обняв друг друга...»	23
«Я жесток? Ты на звезды взгляни...»	23
«Разбудил меня грохот на крыше...»	24
Сумерки	24
Уехавшему другу	25
«О, Север высокий!..»	25
Василий Алексич	26
Памяти друга	27
Катастрофа	28
«Какой-нибудь Сен-Санс тому назад лет сорок...»	28
«Увы, не блещет мысль...»	28
Пустырь	29

ПЛИСЕЦКИЙ Герман Борисович

ПРИГОРОД

Стихи

Редактор О. Н. Хлебников

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 05.07.90. Подписано к печати 1.08.90. Формат 70×108^{1/2}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 1,40. Усл. кр.-отг. 1,58. Уч.-изд. л. 1,47. Тираж 150000 экз. Зак. № 2555. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● Если Вы живете в сельской местности или имеете дачу (садовый домик), Вы можете переложить на Госстрах часть своих забот о сохранности имущества.

● Новый вид страховых услуг — страхование имущества на подворье — гарантирует Вам возмещение материального ущерба в случае уничтожения (гибели, повреждения) домашнего имущества, плодовых многолетних деревьев в плодоносящем возрасте, овец, коз, свиней и семей пчел. В понятие «домашнее имущество» входят предметы домашней обстановки, обихода и личного потребления, садово-огородный и другой инвентарь, сельскохозяйственная продукция, топливо и стройматериалы.

● Семьи пчел (в ульях) и пчеловодческий инвентарь считаются застрахованными и при нахождении их на кочевых пасеках, овцы, козы и свиньи — на месте их выпаса, а домашнее имущество — во всех жилых и подсобных помещениях, а также на приусадебном участке.

● Вы можете заключить договор на все имущество в целом или на отдельные виды, но с обязательным включением домашнего имущества (возможно 15 вариантов). Договор оформляется сроком на один год.

● Платеж составит в зависимости от варианта страхования 0,7—1,0% заявленной Вами суммы и может быть внесен наличными деньгами или путем безналичного расчета. Вам предоставлено право уплатить его в два срока. Для постоянных страхователей предусмотрены определенные льготы.

● Минимальная сумма страхования — 3 тыс. рублей. Свыше 5 тыс. руб. договор заключается с осмотром имущества.

● Те, кто ценит и бережет имущество своего подворья, могут обратиться в Госстрах для заключения такого договора.

Государственное страхование СССР.

Правление.